

УДК 14(470+571) «18/19»

ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ В XIX в.

В. И. Красиков

A PROBLEM OF SUBJECTS OF RUSSIAN PHILOSOPHIZING IN XIX CENTURY

V. I. Krasikov

Статья подготовлена при финансовой поддержке и в рамках выполнения научно-исследовательского проекта № 2.1.3/4245, Аналитической ведомственной целевой программы "Развитие научного потенциала высшей школы" 2009-2010 гг. Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по образованию.

В статье исследуются социальные и ментальные особенности отечественных философов XIX столетия. Автор выявляет их обусловленность со стороны материальных и культурных ресурсов, образа жизни, стремится продемонстрировать как эти черты сказывались на стиле, интенсивности и приоритетах в философских занятиях.

The article is investigated the social and mental peculiarities of Russian philosophers of XIX century. The author explains their source and strives to demonstrate their influence upon a style, intensity and priority of philosophizing.

Ключевые слова: русская философия XIX века, особенности аристократического и демократического образа жизни и мышления в их влиянии на интеллектуальные построения.

Keywords: Russian philosophy of XIX century, the peculiarities of noble and democratic style of life and thinking and their influence upon intellectual constructions.

Немаловажное значение в контексте «начала» нашей мысли имели особенности как первого «субъекта» отечественного философствования в конце XVIII – первой трети XIX вв., так и нового, приходящего ему на смену. Значит, необходимо найти ответы на следующие вопросы: люди каких социальных статусов, с присущими им ментально-психологическими чертами, занимались философствованием? Каковы их сильные и слабые черты, производные от стартовых материальных и культурных ресурсов, образа жизни? И, что важнее всего для нас здесь, – как эти черты сказывались на стиле, интенсивности и приоритетах в философских занятиях?

Эти вопросы не праздны и не есть выражение той или иной разновидности социального редуционизма, стремящегося свести специфику духовного к особенностям социального положения. Их связь с подоплекой событий и включенность в потаенные механизмы духовного творчества доказывают, что к ним приковано внимание как виднейших интеллектуалов рассматриваемой эпохи, пристрастно обсуждавших на страницах своих воспоминаний «передачу эстафеты» (А. Герцен, П. Анненков), так и последующих исследователей (П. Виноградов, Т. Артемьева, В. Мильчинова и др.)

Подобная «передача эстафеты мысли» от аристократов к средним и нижним городским слоям не нова в истории, а представляет собой скорее правило: вначале имеет возможности заниматься интеллектуальными вещами ничтожно тонкий по численности, обеспеченный и привилегированный слой населения. По мере роста общего благосостояния, образования и роста городов появляется и более широкий слой интеллектуалов, живущий уже продажей своих умственных способностей посредством либо преподавания усвоенного ими ранее культурного

капитала, либо создания новых, пользующихся спросом текстов или мыслительных навыков. Существенная особенность этого процесса в России в том, что она происходила как бы «на наших глазах», т. е. удалена от нас на расстоянии всего нескольких поколений. Мы эту передачу можем наблюдать со слов непосредственных участников, и имеем возможность отслеживать ее влияние на характер философствования обозримого количества фигурантов мысли. И для нас это все еще важно. Тогда как подобные же события, отдаленные тысячелетиями в истории древних философских наций, не представляют для них особой значимости в силу столь же древнего разделения основных сфер духовной деятельности.

Итак, существовали два субъекта мысли [1] в России: дворяне-интеллектуалы и представители средних и нижних городских слоев, они же «разночинцы» или «интеллигенция». Первые формулируют в 30 – 40 гг. XIX в. цели и формат многих национальных проектов: «русская литература», «русская политическая (историческая) мысль» и т. п., в том числе и важный для нас – «русская философия» (гранды славянофильства и западничества – Хомяков, Киреевский, Герцен). Вторые приходят им на смену в 50 – 60 гг. XIX в. Итак, что же это были за типы, чье социальное и ментальное характерологическое отличие представлено столь рельефно в мемуарах современников? Находит ли оно свое выражение в особенностях складывания и функционирования всего сообщества интеллектуалов, в специфике основных позиций в поле интеллектуального внимания?

Разница между аристократическим и демократическим образом мыслей определяется существен-

ными исходными различиями в социальном положении и воспитании.

Главнейшее достоинство, даваемое людям с обеспеченным состоянием, – независимость и самодостаточность, автономность от назойливых общественных ограничений. Это прекрасные стартовые возможности не просто для усвоения предшествующего культурного капитала в важной аранжировке «фамильной преемственности образования и воспитания» [2, с. 49], что само собой разумеется, но и для глубокой внутренней работы, катарсически разряжающейся иногда в виде дивного экзотического цветка «второго рождения» на территории духа. Впитывалось с молоком матери (кормилицы) врожденное внутреннее достоинство, право «располагать собой, не придерживаясь никакого кодекса установленных правил, столь же условных и стеснительных в официальной морали, как и в приватной, какую заводят иногда дружеские кружки для своего обихода» [3, с. 166]. «Довольство дает развязную волю и ширь всякому развитию и всякому росту, не стягивает молодой преждевременной заботой, боязнь перед будущим, наконец, оставляет полную волю заниматься теми предметами, к которым влечет» [4, с. 354 – 355].

Привилегия, впрочем, оборачивается «бременем белого человека». Недостатки, как известно, являются продолжением достоинств, а потенция в реальной жизни редко превращается в реальность. Происходила редукция существенной части жизненной мотивации и «душевладецы» превращались в паразитический класс, живописуемый Гоголем («Мертвые души») и Гончаровым («Обломов»). Даже одна из наиболее деятельных из них натур – Герцен, отмечает, что «Онегиных было даже слишком много. Мало занятые, все они жили не торопясь, без особых забот, спустя рукава» [4, с. 445].

Душевная автономность, чувства самооценности и избранности, культивируемые аристократическим воспитанием, давали большие авансы, но и требовали подтверждающей результативности в своих глазах и глазах других. И слишком мало у многих было для того воли, в большинстве случаев, отсутствовала внутренняя дисциплина и посыл к работе. Романтизм, отрешение от мира и бунтарские настроения обычно ограничивались университетским курсом (службой) и двумя-тремя годами юности. Для большего, если в дефиците были воля и идеализм, нужны были постоянное поощрение и знаки внимания, одобрения, обожания со стороны окружения, себе подобных, «света». Герцен отмечает, что Чаадаев (и также сами Герцен и Хомяков) постоянно мельтешил на светских тусовках, принимая у себя и тех, кого презирал, одевая на себя, впрочем, маску Байрона. Удел богатых и знатных интеллектуалов – осознанный и не осознанный поиск аудитории, рукоплещущего амфитеатра. Чацкий с воодушевлением обличал «нравы», Чаадаев, как вспоминает А. В. Якушкин, «ежеминутно закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить» [5, с. 5]. Хомяков «горячо и неумоимо просперил всю

жизнь» [4, с. 447], так и не реализовав свой историко-софский проект «Семирамиды», оставив все в кондичии рукописей. В глуши же, своих поместьях они быстро хирели и опускались – хотя, казалось бы, чего еще надо: нет пустого лицемерного «света», об иссушающем влиянии которого сокрушалось не одно поколение Онегиных-Печориных, твори себе. Неудачи их быстро подкашивали (попытки Киреевского издавать свои журналы), разочарование и депрессия, как следствие имманентного диссонанса завышенных амбиций с прозаической реальностью, окрашивало их зрелые и старческие года в печальный цвет меланхолии и возвышенной тоски (вспомним Павла Петровича Кирсанова в тургеневских «Отцы и дети», судьбы тех же Герцена и Тургенева).

Иное дело, интеллектуалы-разночинцы. На них исходны: печать зависимости от среды, прививаемый с детства пиетет перед авторитетами, подсознательный страх перед голодом и лишениями, которые всегда маячат в отдалении, «демократическая зависть» при встрече с готовым комфортом. Интеллектуалы-дворяне безошибочно распознавали эту «демократическую слабость» и зло над ней иронизировали, мстя за аналогичные ревностные чувства к себе. Это «немножко дворянства, немножко поповства, немножко вольнодумства, немножко холопства» (Н. Михайловский) [6, с. 47]. Повышенная зависимость и склонность к следованию чужим влияниям как черта интеллектуалов-демократов усугубила и так уж такую развитую национальную черту как рецепируемость. Показательны в этом плане культбиты Белинского, иконы и архетипа разночинного интеллектуала, которого каждый раз как танк переезжало какое-либо очередное новомодное западное учение: французских социалистов, Гегеля или же Фейербаха. Вот как, с плохо скрываемым злорадством, описывает реакцию на последнего П. Анненков: «Белинский был поражен и оглушен до того, что оставался совершенно нем перед ней («Сущностью христианства» – В. К.) и утерять способность предъявлять какие-либо вопросы от себя, чем всегда отличался» [3, с. 150]. Подобное же шоковое впечатление с прямыми поведенческими последствиями пережил «неистовый Виссарион» и чуть ранее, при знакомстве (заметим – в простом пересказе М. Бакунина, по незнанию немецкого) с учением Гегеля.

Зависимость и склонность к влияниям отчасти нивелировались в бессознательной тяге к созданию своей особой коллективистской, в противоположность аристократическому индивидуализму, среде себе подобных со своими правилами и общими целями «сознательных работников для исторического прогресса» и «долгом перед народом», чья морально-политическая демократическая цензура была строже правительственной [7, с. 52, 54].

Привычка к стеснениям с малых лет как нельзя лучше дисциплинировала «пролетариев умственного труда» – они умеют и любят работать: плодovitость разночинцев просто поражает. Хотя они сильно зависели от реальных условий, политики и социальных институций, однако смогли противопоста-

вить себя правящей элите создать особый этос борьбы, где свои эмансипационные цели отождествили с народно-освободительными.

Другое важное различие между двумя типами интеллектуалов проистекает из характера образования и воспитания. Раннее приватное, комплексное и полиязыковое образование создает, как то подтверждает и современная практика, труднодостижимые для других предпочтения. Главное среди них – возможность для раннего развития *артикулированного* стиля мышления и жизни [8], благодаря усвоению с детства основ мирового духовного наследия, к тому же в полисемантической подаче. «Чистый» или более высокий тип интеллектуала подразумевает «более сущностно» подобный стиль поведения и мышления, в отличие от неосознаваемых самоотождествлений среднего, так сказать «массового» интеллигента со своей группой, средой или предшествующей традицией.

Нечто подобное имеет место и в сопоставлении интеллектуалов-аристократов с интеллектуалами-разночинцами. Интеллект первых, благодаря своему элитному фамильному воспитанию и образованию, исходно был отформатирован более широко, панорамно. Исходная культурная сложность окружающей среды, повседневность активного пользования несколькими языками, персональные связи с учителями – создавали *тонкую чувствительность к разнообразию*, основу культурно-врожденного персонализма, а, следовательно, склонность к личностной рефлексии. Не надо, однако, думать, что это безусловное преимущество. Рефлексия, как известно, обоюдоострое оружие. В случаях недостатка воли и воображения, усекновения стимулирующей мотивации или фатальной вереницы возобновляющихся препятствий она инициирует щелочное разъедание своих же собственных основ.

Выходец из бедных и средних слоев, сколь талантлив он ни был, не имел, конечно же, исходных привилегий домашнего образования и развивающей языковой подготовки. Конкретная сословная и конфессиональная среда закладывали в него свои образы, подаваемые как «глобальные» (т. е. единственно возможные и правомерные). Отчасти их разрушало университетское образование, дискредитируя сословные предрассудки и филистерскую замкнутость мировоззрения («футляр»), очищая место для новой, «прогрессивной» закупорки. Само школьное, «кафедральное» образование, формирующее интеллект разночинца, имело (и имеет) сциентистскую парадигму, административные и методологические ограничения [9, с. 102 – 103]. Здесь утверждается *единообразие* через культовые поучающие тексты, требующие рационального и систематического изложения сути всего. Меж них следует выбрать наилучшую систему, которая и будет истиной, катехизисом, зная которую интеллектуал может считать себя достигшим полного просветления.

В случае своего «положительного» или ограниченного, умеренного (здравым смыслом, интуицией) использования такие рациональность и сциентизм очень даже эффективны как для достижения успе-

хов в исследованиях, так и в организации практической жизни. Однако, как и в случае с благодатным культурным даром аристократии (рефлексия), рационалистическо-сциентистское формирование интеллекта разночинцев также имело свои серьезные издержки, нарушения благодетельной меры, поскольку утверждало культ единообразия (метода) и единственности (истины). Это вело к воинственному идеализму и профетизму (просветленной благодати «высшего понимания жизни и истории») – стоической основе демократического революционаризма и действительного подвижничества, с одной стороны, но и к нравственной глухоте (монашество атеистической религиозности) и нигилизму «прогрессоров», с другой.

Находили ли выражение отмеченные ментальные особенности этих двух типов интеллектуалов в их мировоззренческих построениях? Думается, что находили – в самой общей форме.

Высокообразованность, тонкая чувствительность к различиям, рефлексивность выдающихся представителей дворянской культуры стимулировали к созданию широкоформатных мировоззренческих полотен, в которых изощренно переплетались рационалистические и иррационалистические нити. Эти типы были склонны к персонализму, этическому идеализму поисков оправдания подлинной внутренней свободы, метафизике абсолюта и добра. Это характеризует как аристократов-славянофилов Хомякова, Киреевского, Аксакова, Самарина и более поздних Бердяева и кн. Трубецких, так и западников Герцена и Огарева, аристократов-анархистов Бакунина и Кропоткина.

Нравственная выдержка, терпеливость, методизм труда, коллективизм и воинственный идеализм «сознательных тружеников прогресса» фокусировали их внимание в основном на видимых, материальных, социальных формах бытия. Отсюда их страсть к материализму и позитивизму, социологическому редукционизму. Отчетливы подобные приоритеты у лидеров интеллектуалов-разночинцев: Белинского, Чернышевского, Писарева и др. Вместе с тем, дворяне-интеллектуалы из их же лагеря так и оставались не совсем «своими» в силу их «родовых пятен»: Герцен, Грановский, Михайловский, Лавров отличались душевной деликатностью, природным синтетизмом, культивированием личностного начала даже в социализме.

Побеждают, как известно, приоритетные темы, стиль мышления и действия более целеустремленных, деятельных и деловитых интеллектуалов. В течение почти всего XIX в., вплоть до последней его трети, доминирует социальная тематика в ущерб метафизической, которая остается маргинальной.

Подытожим. Исходная «аристократичность» субъектов философствования и малая доля «трудового», доморощено-«демократического» (разночинного) элемента отсрочило на некоторое время появление сообщества интеллектуалов, одним из важнейших признаков которого, помимо рода непосредственных занятий, является страсть к общим вопросам.

Г. Шпет предлагает более сложную схему в эстафете «интеллигенций», т. е. субъектов культурного и мыслительного процессов. Он полагает, что «аристократическую интеллигенцию» (вероятно, интеллектуалов среди крупной родовой знати допетровской Руси) сменила «правительственная» или «бюрократическая» интеллигенция. По мысли Шпета – это бюрократы-культуртреггеры петровского и после петровского поколений, которые уяснили для себя вполне осознанно миссию просвещения огромной варварской России. В двадцатые же годы XIX столетия начала складываться «нигилистическая» интеллигенция, либеральная и социалистическая, находящаяся *rag excellence* в оппозиции «правительственной», приведшая, в конце концов, к большевизму.

Введение «третьей переменной» – правительственной интеллигенции, думаем, излишне. У бюрократов, в отличие от интеллектуалов из дворян или же разночинцев, как правило, не бывает автономного, самостоятельного и альтруистичного коллективного сознания.

Литература

1. Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Г. Г. Шпет. Сочинения. – М., 1989. – С. 40 – 47.
2. Виноградов, П. Г. Россия на распутье: историко-публицистические статьи / П. Г. Виноградов. – М.: Территория будущего, 2008. (Серия "Университетская библиотека Александра Погорельского").
3. Анненков, П. В. Литературные воспоминания / П. В. Анненков. – М., 1960.
4. Герцен, А. И. Былое и думы / А. И. Герцен. – М.: СЛОВО/SLOVO, 2001.
5. Мильчинова, В. А. О Чаадаеве и его философии истории. Сочинения / В. А. Мильчинова, А. Л. Оспова. – М.: Правда, 1989.
6. Шпет, Г. Г. Очерк развития русской философии. Сочинения / Г. Г. Шпет. – М., 1989.
7. Келли, А. Самоцензура и русская интеллигенция 1905 – 1914 гг. / А. Келли // Вопросы философии. – 1990. – № 10.
8. Артемьева, Т. В. Философия не умственная, а сердечная и чувствительная / Т. В. Артемьева // Вопросы философии. – 2005. – № 1.